

об игре Декарт не писал, а научно-методу посвятил сразу несколько («Правила для руководства ума», «Разыскание истины посредством естественного света» и «Рассуждение о методе»). Также не принимается во внимание, что в двухтомном собрании сочинений Декарта¹² слово «игра» встречается раз десять, а термин «наука» — около двухсот. Также игнорируется тот очевидный факт, что Декарта, в отличие от Библихина, совершенно не интересовал язык (равно как и «игра ребенка»; и вообще, согласно Декарту, «это слово — игра — напоминает мне об ошибке»¹³). Таким образом, мы видим, как под давлением авторитета *традиции* (Лосев, Библихин и др.) мифологическое мышление фокусируется на второстепенном, явно игнорируя существенное.

В заключение все-таки хотелось бы сказать пару слов о том, в связи с чем авторы собираются реабилитировать вещь. Кому-то может показаться странным, но эта реабилитация предпринимается главным образом в связи с «элиминацией вещи из экономического сознания», которая имело место в СССР: «В советской дефицитарной экономике, где круг вещей, необходимых для удовлетворения нужд, был резко сужен, модернизация общества отождествлялась с индустриализацией, а индустриализация — с созданием отраслей тяжелой промышленности, и удовлетворение нужд ныне живущих людей отодвигалось в „светлое будущее“ „Дефицитарная идеология“, будучи апологией дефицитарной экономики, выносила за скобки реальное многообразие потребностей

человека и способов их удовлетворения, уже существовавших в развитых обществах» (С. 6).

Авторы не скупятся на иллюстрации бедственного положения с вещами в СССР. Так, «один иностранец» «не мог найти в продаже ножницы для того, чтобы постричь ногти» (Там же), а еще «каждый из нас помнит советские времена, когда в магазинах был только один сорт сыра под названием „Сыр“» (С. 578). Для особо непонятливых читателей авторы даже сделали цветную вклейку: с одной стороны — «Завтрак с рыбой» Питера Класа (серебряная посуда, изящный бокал с вином, фрукты и проч.), с другой — разложенная на оберточной бумаге жалкая «Селедка» Петрова-Водкина с осьмушкой черного хлеба и двумя картофелинами. Именно к этим иллюстрациям, по всей видимости, относятся следующие слова авторов: «Один знакомый говорил, что уровень цивилизованности общества и его свободы можно определять тем, какой хлеб продается в магазинах. Это — не шутка, а точное социологическое наблюдение» (Там же).

Соответственно, «реабилитация вещи» в этом, экономическом, так сказать, смысле произошла в современных «цивилизованных» и «свободных» потребительских обществах, где «осуществлен поворот к ВЕЩИ (выделение заглавными буквами принадлежит авторам. — А.А.) как к предмету потребления, в том числе и к ВЕЩИ как знаку и символу престижа» (Там же). У меня, конечно, нет полной уверенности, но складывается впечатление, что именно в этих нескольких словах и заключается та основная идея, которую хотели донести до нас авторы.

Алексей Апполонов

НЕ МИР ВАМ ПРИНЕС...
ПУБЛИКАЦИЯ ПАТРИАРХИИ К 65-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ

Антон Керсновский. Философия войны.
М.: Изд-во Московской патриархии, 2010. — 208 с.

Кто сегодня сможет объяснить, отчего в эмиграции считалось, будто рассуждения в духе «как нам обустроить Россию» — это философия? Во всяком случае большую часть этих рассуждений отличали две характерные черты: во-первых, в них даже не ставился вопрос, куда денутся большевики и почему, собственно, «народ» должен будет заинтересоваться проектами хранителей русской культуры; во-вторых, любая конкретика в них последовательно замещалась пугающе пафосными и безапелляционными общими формулами. Прекрасным примером эмигрантского стиля мысли может служить книжка Керсновского. «Армия, — пишет он, — не меч. Она — рука, держащая меч. Живая рука, направляемая волей головы. А голова — царь. Это единственно возможная в русских условиях формулировка. Всякая другая исключается. Коммунистическое варварство, демократический мажорант, тоталитарно-диктаторское богоборчество одинаково растлевают страну, одинаково развращают вооруженную силу. Мы отбрасываем эти порождения тщеты и скудоумия» (С. 121). Или: «Задача женщины — создание и воспитание семьи. <...> Женский труд является лишь суррогатом мужского труда» (С. 126). Или еще: «Создание духа страны — дело Церкви и школы. <...> Первенство воспитания над обучением в школьном деле столь же ясно и очевидно, как

и в собственно военном. Мы должны считать это аксиомой» (С. 127).

Аксиомами дело не ограничивается — все-таки Керсновский выдающийся военный писатель своего времени. Однако его «философия» производит странное впечатление. Прежде всего сам он указывает в предисловии, что книга представляет собой «посильную... лепту в... возрождение нашей национальной доктрины, а тем самым и военной доктрины» (С. 27). Далее следует пояснение: речь идет о том, чтобы, отвергнув чуждые национальному характеру «рационалистические теории», прочитать «духовными очами» суворовскую «Науку побеждать» и, проникнув в ее православным духом, завершить строительство «величественного здания русской национальной доктрины» (С. 27), дабы, в конце концов, соответствующим образом реформировать военную государственную систему. Для чего было называть этот, по-своему любопытный, проект «философией» — непонятно. Зато вроде бы понятно, почему он понравился Московской патриархии.

Хотя и здесь возникают вопросы. Книгу выпустили к 65-летию Победы и презентовали на круглом столе, посвященном вкладу в победу религиозных организаций. Допустим, протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, вслед за Керсновским

считает, что «то главное, что должно быть у воинства, — это дух»¹⁴ (потому что, конечно, если бы он считал иначе, в Вооруженных силах это могли бы воспринять как критику, а не как взаимодействие), допустим даже, он согласен с предложенной в «Философии войны» оценкой Толстого и Ленина. Но что делать с таким, например, неудобным пассажем, как «родное дитя мировой войны — это „фашизм“ и родственные ему идеи, открывшие человечеству новые горизонты, давшие ему новые формы социального устройства, выведшие человеческую мысль и общество из того безвыходного тупика, куда их загнали дикари 1789 года» (С. 39)? Можно, конечно, прикрыться комментарием, поясняющим, что «имеется в виду итальянский фашизм 1920-х годов, определенный интерес к которому имел место среди белоэмигрантов, искавших нелиберальную альтернативу коммунизму» (С. 147; курсив мой. — Е.С.). После чего издателям остается лишь надеяться: вдруг читатель не заметит, что книга впервые опубликована в 1939 году и, судя по словам «в политике же [натиск] часто гибелен, затмевая глазомер, как то трагически показывает опыт Гитлера — азартного игрока и мистика, отнюдь не государственного человека» (С. 87–88), тогда же в последний раз редактировалась. Ведь если читатель это все же заметит, ему, быть может, станет не вполне понятно, почему издание книги хоть и православного, но все-та-

14. Круглый стол «Вклад религиозных организаций в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» // Официальный сайт Московского патриархата. 22.04.2010. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/1143932.html>.

ки фашиста приурочено к юбилею Победы над фашизмом и родственными ему идеями.

Книгу свою Керсновский начинает, расправляясь (в два счета, на каких-то четырех страницах) с толстовством: заповеди Моисея запрещают еврею красть у еврея, лжесвидетельствовать на еврея и убивать еврея, а личным поучениям Христа ошибочно придавать общественный характер (С. 30–31). Все решается настолько просто, что остается даже некоторое недоумение: почему же война считалась две тысячи лет такой проблемой для христианского сознания? Почему вопросы Толстого казались такими принципиальными и как он завоевал столько сторонников? Для чего были затрачены такие колоссальные интеллектуальные усилия — Толстому противостоял, конечно, не только И. А. Ильин (о чем сообщает нам хотя бы комментатор), но и Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, а прежде всего В. С. Соловьев с его блестящей диалектикой «Трех разговоров»¹⁵?

Вообще складывается впечатление, что Керсновский предпочитал военно-историческую литературу теоретической: он ни словом не упоминает не только дискуссии о войне в русской философской публицистике, но даже и Н. Н. Головина¹⁶, работы которого, казалось бы, дол-

15. Кстати, не так давно опубликована «Философия войны» А. Е. Снесарева (2003). И что удивительно, в курсе лекций, которые бывший царский генерал собирался читать в Академии Генерального штаба РККА будущим красным командирам, имеются и цитаты из Толстого, и обстоятельный разбор Соловьева. Керсновский себя этим не утруждает.

16. Снесарев в своей книге опять-таки приводит точку зрения белого генерала.

жен знать. Его критика пацифизма, его этика и рассуждения о справедливой войне банальны. Другие «обязательные» в то время для книги с таким названием темы (законы войны, эволюция и будущее войны, война как наука и искусство, война как политический инструмент и как культурная сила, полководец) хоть и присутствуют, но чрезвычайно скупо: пара произвольно подобранных исторических примеров, сопровождающихся оценками в стиле «Наполеон... Суворов... дают нам золото 96-й пробы. Полководчество Фридриха II — гений, сильно засоренный рутинной и „методикой“, — золото уже 56-й пробы. Полководчество Мольтке-старшего... серебро... полководчество его племянника — лигатура, олово» (С. 48). И — вуаля! — проблема вроде как снята. Понятно, что убедит такая «философия» только тех, кого и убеждать не нужно.

Но, видимо, в том-то и дело. Керсновский, в 14 лет примкнувший к Белому движению, принадлежал к кругу, в котором не было нужды читать Ленина, чтобы утверждать, что написанное им о войне, например, безнравственно и бесчеловечно. Поэтому он позволяет себе явную нелепицу: «Величайший варвар XIX столетия Клаузевиц выдвинул теорию „интегральной войны“ — на уничтожение. Теория Клаузевица была претворена в жизнь виднейшим из его учеников — Лениным, почему и все это учение мы будем называть „клаузевицко-ленинским“. Оно сводится к истреблению, уничтожению противника» (С. 36–37). Или: «Приняв советский метод „исторического материализма“ и „классового подхода“, можно, например, пугачевского „генерала“ Хлопушу Рваныя Ноздри сделать

центральной фигурой русской истории, посвятить ему двести страниц, а Рюрику, Грозному и Петру I отвести полстраницы» (С. 52). И может рассчитывать, что это сойдет ему с рук. В замкнутой эмигрантской среде то, что демократия, пацифизм и материализм свидетельствуют об «оскудении народного духа» и упадке государственности (и одновременно ведут к ним), вероятно, столь очевидно, что Керсновскому и в голову не приходит это доказывать. Удивительнее, что у него, лишь историка и публициста, сформировалась, по всей видимости, та специфическая оптика, которая бывает свойственна кадровым военным: от непоколебимой уверенности в максиме «Хочешь мира — готовься к войне» (С. 45), причем у Керсновского — к войне прошлого (у него это приобретает совсем уж карикатурную форму: в конце 1930-х посвятить авиации полстраницы и на восьми выступить с апологией штыка), к идеям сословной организации офицерского корпуса (С. 119) и максимального расширения призывного контингента (С. 120).

Теоретическое содержание «Философии войны» можно практически без остатка свести к лозунгу «Суворов вместо Клаузевица!». Кровожадный Клаузевиц, видимо по национальному признаку записанный в «позитивисты» и «рационалисты», собирается заковать «народы-илоты» в цепи (С. 37) и всецело одобряет издевательства над бельгийскими девочками (С. 134). Что интересно, увлеченный критикой «рационализма» и собственной германофобией, Керсновский не замечает или не считает нужным сообщить читателям, что целый ряд его принципиальных положений —

и в том числе о соотношении «военной науки» и «военного искусства» (С. 47) — уже высказан Клаузевицем, который, в отличие от Керсновского, не гнушался доказательствами. Соотношение политики и стратегии (С. 53), требование концентрации сил на решающем участке (С. 82), описание «военного человека» (ср. главы XII, XIV «Философии войны» и главу III первой части I тома «О войне»), даже недооценка роли техники (при разнице более чем в столетие!) странным образом совпадают.

Что касается прочтения Суворова «духовными очами» — результат его вполне предсказуем: Керсновский на разные лады повторяет мантру о превосходстве духа над материей. Он утверждает, например, что, если бы в 1915 году русский десант взял Царьград, это «возбудило бы в обществе и всей стране такой подъем духа, что временная утрата Галиции, Курляндии и Литвы прошла бы совершенно незамеченной и Россия обрела бы неисчерпаемые силы для успешного продолжения войны» (С. 72), формулирует тезис «Тактика (порождение духа) властвует над техникой (порождением материи)» (С. 76) и т. д. Примечательнее всего, конечно, ода штыку, на котором зиждат-

ся «моральное могущество армии» и «престиж государства» (С. 78).

Как известно, с начала 2000-х патриотизм православных государственныхников у нас в моде. Русская религиозная философия вкупе с историей Белого движения одаривают чающих национальной идеей. «Философия войны» — книга в этом отношении чрезвычайно щедрая; музыкой звучат слова главы XXI «Общественное мнение и руководство им»: «Сто тысяч тщательно подготовленных и тщательно отобранных народных учителей-офицеров дадут нам могучий кадр — закваску и фундамент российского просвещения. <...> Философские дисциплины — психологию, логику и собственно философию — надо поручить священнику-законоучителю либо педагогу с богословским образованием» (С. 128). Сегодня эти давние мысли отнюдь не чужды сердечным чаяниям иных высокопоставленных читателей. И вот, словно на заказ, пример «нового правосознания», о котором грезят некоторые наши руководители. «Будучи народом православным, — считает Антон Антонович Керсновский, — мы должны относиться к пакту Келлога-Бриана как к ничему не значащей бумажке» (С. 136).

Егор Соколов

АНТРОПОЛОГИЯ КАК БАЗОВАЯ НАУКА

Марсель Энафф. Клод Леви-Строс и структурная антропология / Пер. с фр. О. Кустовой. СПб.: Гуманитарная академия, 2010. — 560 с.

Каждая хорошая книга учреждает свой жанр, создает собственный бриколаж гуманитарных методов и интеллектуальных сти-

лей, образует новые структуры из обломочных пород различных дискурсов. Вот и работа Марселя Энаффа не походит на роль про-

сто интеллектуальной биографии Леви-Стросса (будем придерживаться дореформенного написания фамилии с двумя «с») и не рассказывает историю возникновения структурализма, если таковая может быть у структурализма, негативно настроенного к любой генеалогии; это и не антропологическое исследование, и не историко-философская работа, не авторский взгляд в жанре «мой Леви-Стросс». Вместе с тем Энафф претендует на анализ сразу всех (что особо отмечается в аннотации) работ Леви-Стросса, не подчиняя это изучение хронологической последовательности, поскольку, как полагает структурализм, последующее не всегда выходит из предыдущего. Энциклопедичность замысла вполне оправдывается авторской позицией в тексте.

От философии к науке. Для Леви-Стросса принципиально важным было показать различие и даже превосходство научных идей над философскими. В «Голом человеке» он говорит: «В противовес любым философским измышлениям, к которым мы можем прийти исходя из моих работ, ограничусь констатацией того, что, на мой взгляд, они могли бы в лучшем из всех гипотетических случаев лишь способствовать заклятию того, что нынче понимается под философией»¹⁷. Такое желание заклинать философских призраков можно объяснить желанием вычленить знание о человеке из совокупности метафизических идей, окружающих любую научную теорию и черпающих собственные проблемы в любом мало-

мальски пригодном для спекуляций материале. И действительно, философские вопросы антропологии не только занимают добрую часть философского сообщества, но замещают и собственно антропологические знания. Поэтому Леви-Стросс задается целью вывести из «философской антропологии» антропологию научную, от обильных философствований о человеке перейти к верифицируемому знанию, от метапозиции — к позиции феноменолога. Поэтому он так часто говорит об объективности знания, имея в виду, что антрополог больше «не может относиться к своему предмету как к предмету, поскольку имеет дело с человеком» (8¹⁸) и должен говорить о человеке объективно, но не обезличенно. Именно этим желанием ввести границы, отделяющие антропологию от философии, и объясняется научная строгость Леви-Стросса, который четко определяет границы структурализма и выступает против аппликации антропологических методов к исследованию смежных областей и уж тем более от профетических попыток найти в структурализме универсальный метод для всех гуманитарных наук или ключ к пониманию человеческой природы. «Утверждать, что в обществе наличествует структура — трюизм, но говорить, что все в обществе структурировано — абсурдно», — говорит он в «Структурной антропологии». Словом, Леви-Стросс понимает, что объективность и верифицируемость знания могут существовать лишь в очень ограниченных пределах и для ограниченного числа объектов.

17. *Levi-Strauss C.* L'Homme nu — Mythologiques IV. P.: Omnibus, 1971. P. 570.

18. Здесь и далее в скобках указаны страницы рецензируемой книги.